



## **С. Н. БУЛГАКОВ**

### **Священник о. Павел Флоренский**

Получено на днях прямое подтверждение вести о смерти великого русского богослова и мыслителя — священника о. Павла Флоренского. Он скончался в Соловках, после 10-летней ссылки в места отдаленные, — от Восточной Сибири до Белого моря.

Из всех моих современников, которых мне суждено было встретить за мою долгую жизнь, он есть величайший, и величайшим является преступление поднявших на него руку, обрекших его хуже чем на казнь, но на долготетнее мучительное изгнание и медленное умирание. Он отошел, озаренный ореолом больше чем мученика, но исповедника имени Христова в антихристово гонение. Посему и эта смерть исполняет душу не только потрясающей скорбью, как одно из самых мрачных событий русской трагедии, но она есть и духовное торжество, как одно из тех, о которых сказано Тайнозрителю: «Отныне блаженны мертвые, умирающие о Господе, ей, говорит Дух, они упокоятся от трудов своих, и дела их идут вслед за ними» (Откр. XIV, 13).

Мне суждено здесь, в чуждой земле, ныне свидетельствовать перед не знавшими его о величии и красоте его духовного образа. Но никогда я не чувствовал в такой мере бессилие своего слова, как перед лицом этого своего долга. Отец Павел был для меня не только явлением гениальности, но и произведением искусства: так был гармоничен и прекрасен его образ. Нужно слово, или кисть, или резец великого мастера, чтобы о нем миру поведать. При этом он сам не только родился таким, но был и собственным произведением духовного художества, для чего ему была присуща вся тонкость духовного и художественного вкуса. Черты его внешнего лика запечатлены на известном нестеровском портрете: благодатная тихость и просветленность, образ как бы некоего небожителя, который, однако, был сыном и земли, ее тягости

изведал и преодолел. В нем вовсе не было идиллической наивности и примитивности, это и о нем могло быть сказано: «О, бурь заснувших не буди, под ними хаос шевелится»<sup>1</sup>. Но он любил ее, эту родную землю, как всечеловеческую мать, древнюю Деметру, но вместе знал и чтил ее как святую Богоземлю, Пречистую и Преблагословенную, которой он так поклонялся (см. его посвящение «Столпа»: «Всеблагоуханному и Пречистому Имени Девы и Матери»).

Извне он был скорее нежного и хрупкого сложения, однако обладал большой выносливостью и трудоспособностью, отчасти достигнутой и огромной аскетической тренировкой. Я был свидетелем этой его аскетической самодисциплины, как и его трудового научного подвига: обычно он проводил ночи за работой, отходя ко сну лишь в 3—4 часа пополуночи, но при этом сохраняя всю свежесть ума в течение дня, и то же можно сказать и об его пищевом режиме. И все это было в нем не только голосом его духовной стихии, но и делом железной воли и самообладания. Слабый от природы, в те годы, когда я знал о нем (увы, нашей разлуке исполнилось уже четверть века), он, насколько я помню, вообще никогда не болел, ведя жизнь, исполненную аскетических лишений.

Когда о. Павел где-либо появлялся, он естественно привлекал к себе внимание, по крайней мере людей зрячих, как до своего священства, так и, особенно, после него. В его лице было нечто восточное и нерусское (мать его была армянка). Мне же духовно в нем виделся более всего древний эллин, а вместе еще и египтянин; обе духовные стихии он в себе носил, будучи их как бы живым откровением. В его облике, в профиле, в отражении лица, в губах и носе было нечто от образов Леонардо да Винчи, что всегда поражало, но вместе и... Гоголя. Помню, как мы, знавшие его и присутствовавшие при открытии памятника Гоголю в Москве (Эрн, А. Белый и др.), впервые увидавшие его после снятия закрывавшей его завесы, так и ахнули: «Павлуша!» (так называли его друзья и сверстники, школьные товарищи по Тифлисской гимназии, ныне оба отошедшие уже: В. Ф. Эрн и о. Александр Ельчанинов)<sup>2</sup>. И при этой внешности, мимо которой нельзя пройти, ее не заметив, в ней не было ничего вызывающего, arrogantного<sup>3</sup>.

Это же было и в голосе, и в речи: о нем всегда просилось на уста шекспировское слово (Гамлета об Офелии)<sup>4</sup>: у него был нежный, тихий голос, большая прелесть (не только в женщине, но в данном случае и в мужчине). Однако в этом голосе звучала и твердость металла, когда это требовалось. Вообще, самое основное

впечатление от о. Павла было *силы*, себя знающей и собою владеющей. И этой силой была некая первозданность гениальной личности, которой дана самобытность и самодовлеемость при полной простоте, естественности и всяческом отсутствии внутренней и внешней позы, которая всегда есть претензия внутренней немощи. И в путях духовного развития и самоопределения мы наблюдаем в о. Павле эти же самые черты. Можно сказать в известном смысле, что о. Павел сам себя сделал, пойдя своим собственным путем.

Он родился и вырос в культурной семье (отец его был образованный инженер) и воспитывался он в атмосфере Бетховена и Гете, но вне религии. Являясь духовным аристократом по воспитанию, он был до известной степени и эстетом. По окончании гимназии, где он поражал учителей своими математическими способностями, тогда уже исследовательскими, он поступил на математический факультет Московского университета, по окончании которого был оставлен при нескольких математических кафедрах (и еще долго спустя не могли забыть московские физики и математики одаренного студента). Вместо всего этого о. Павел, резко изменяя свой жизненный путь, поступает в Московскую Духовную академию студентом (у Троицы Сергия), принимая послушание нового научного богословского труда, а вместе и религиозного подвига. Когда и как в нем произошел религиозный переворот, я не имею точных данных. Я узнал его уже после него.

В научном облике о. Павла всегда поражало полное овладение предметом, чуждое всякого дилетантизма, а по широте своих научных интересов он является редким и исключительным полигистром, всю меру которого даже невозможно определить за отсутствием у нас полных для этого данных. Здесь он более всего напоминает титанические образы Возрождения: Леонардо да Винчи и др., может быть, еще Паскаля, а из русских же больше всего В. В. Болотова. Я знал в нем математика и физика, богослова и филолога, философа, историка религий, поэта, знатока и ценителя искусства и глубокого мистика.

Последние годы перед ссылкой о. Павел читал в Москве лекции по электричеству и теории перспективы. Говорят, что даже во время ссылки в Соловках он, со своей всепожирающей пытливостью ума, изучал морские водоросли. При невозможности это проверить, пусть это будет миф, естественно возникающий около личности, по-своему также мифической. И все это богатство даров и, очевидно, достижений, сокрыто, а может быть, и погребено варварством, духовным нашествием гуннов на русскую зем-

лю, раздавлено чугунным прессом «советской власти» вместе с миллионами человеческих жизней.

Мне неизвестно, что уцелело из его научного и литературного наследия, но уже тогда, в годы нашей общей жизни, то есть четверть века назад, я знал, что у него в письменном столе лежат несколько готовых исследований (об именах и переименованиях, разные философские и богословские курсы, математические и другие труды). Он вообще как-то мало интересовался их публикацией. Но я лично считаю, что книга «Столп и утверждение Истины», которая заслуженно прославила его имя в богословии, есть еще юношеское произведение и вовсе не последнее и единственное его слово из всего, что он унес с собою в далекую свою могилу. Однако в мире творческом ничто не пропадает из подлинных духовных ценностей, даже и погибающее здесь, на земле, «дела их следуют за ними»<sup>5</sup>, и семя их и в том мире прорастет...

Однако все, что может быть сказано об исключительной научной одаренности о. Павла, как и о его самобытности, в силу которой он всегда имел свое слово как некое откровение обо всем, является все-таки второстепенным и несущественным, если не знать в нем самого главного. Духовным же центром его личности, тем солнцем, которым освещались все его дары, было его священство.

В. В. Розанов, который, однажды узнав о. Павла, затем не мог уже от него оторваться, как от источника жизни (я знаю, что у о. Павла хранилась огромная и значительная по содержанию с ним переписка, в которой они вместе погружались в мистические глубины еврейского вопроса), написал мне однажды о нем тоже совершенно гениальное по силе и выразительности письмо (не знаю, уцелело ли оно в Москве). Я помню из него только одно слово. — В качестве самого существенного его определения В. В. Розанов сказал: он есть *Περεοφ* (именно по-гречески), *священник*. И это было именно так. Священство о. Павла, как и все в его жизни (помимо того, что над ним совершила сатанинская антихристианская злоба), также было его собственным самоопределением, которое извне как будто совершенно противоречило всей его жизненной обстановке. Такое юродство, как ряса, одинаково не снилось ни его отцу-инженеру, ни гимназическим, ни университетским его учителям. Оно даже вовсе не вытекало с необходимостью из факта поступления в Духовную академию, но таков был внутренний его голос, избрание и призвание.

Само по себе оно не имело для себя примеров и в истории русской интеллигентской общественности. Последняя еще знает

отдельные случаи принятия священства, связанного с переходом в католичество, в аристократическом и светском конвертирстве<sup>6</sup>, но отнюдь не в сермяжном, мужицком православии. Можно сказать, что о. Павел своим примером впервые проложил этот путь в наши дни именно для русской интеллигенции, к которой он исторически, конечно, все-таки принадлежал, хотя всегда и был свободен от «интеллигентщины», враждовал с нею.

Он своим рукоположением фактически делал ей известный вызов, конечно, вовсе о том не думая. По этому же пути, но уже после о. Павла, пошли люди известного духовного и культурного склада. Они идут с ним и вслед за ним, сами то сознавая, а иногда и не сознавая. До сих пор священство являлось у нас наследственным, принадлежностью «левитской» крови, вместе и известного психологического уклада жизни, но в о. Павле встретились и по-своему соединились культурность и церковность, Афины и Иерусалим, и это органическое соединение само по себе уже есть факт церковно-исторического значения.

Чего же искал в священстве о. Павел? Это не было призвание к пастырству и учительству, хотя, разумеется, он их не отрицал, но прежде всего и больше всего влечение к предстоянию Престолу Господню, служению литургически-евхаристическому. Сначала о. Павел стремился — может быть, несколько отвлеченно и идеологически — получить деревенский приход близ Сергиева Посада, так, однако, чтобы совмещать сельское священство с профессорством в Духовной академии, где ему была поручена кафедра духовной философии (рутина и здесь оказалась сильнее существа дела, и о. Павел был отстранен от кафедр чисто богословских), но затем он получил для себя небольшой домовый храм общины Красного Креста в Сергиевом Посаде, разумеется, до 1918 года, с которого уже начинается его священническая бесприютность. После этого, очевидно, не могло не прерваться рано или поздно и его священническое служение. Однако и большевистская Москва помнит его читающим научные лекции в рясе и в кресте. Не скажу точно года его рукоположения — кажется, это было около 1910 года. Незадолго до рукоположения совершилось и его вступление в брак, для близких его по-своему неожиданное. Его аскетический путь первоначально вел его к монашеству, но затем аскеза в монастыре сменилась аскезой в семье. Он стал главой семьи, заботливым и нежным отцом нескольких детей. Разлука с ними и тревога о них, очевидно, была и особым крестом его в изгнании.

В своем рукоположении о. Павел перешагнул через то препятствие, которым для нас, вернувшихся к Церкви, так сказать,

«интеллигентов», являлась зависимость Церкви от государства, цезарепапизм. В своей исключительной почвенности — несмотря и даже вопреки его полурусской крови — о. Павел был, точнее, хотел быть и политически скорее консервативным, хотя это в нем и соединялось с апокалиптическим и эсхатологическим чувством жизни, «не имеющей zde<sup>7</sup> пребывающего града, но грядущего взыскующей». В то время, когда вся страна бредила революцией, а также и в церковных кругах возникали одна за другой, хотя и эфемерные, церковно-политические организации, о. Павел оставался им чужд — по равнодушию ли своему вообще к земному устройению или же потому, что голос вечности вообще звучал для него сильнее зовов временности. Обновленческое движение в среде русского духовенства, позднее выродившееся в живоцерковство, никогда не находило для себя отзвука в о. Павле, как ни страдал он от всей косности нашей церковной жизни. Его христианство не было также и «социальным», хотя тогда уже вокруг него и возникали разные его течения. Но это было в нем менее всего простым охранительством, эта внешняя оболочка соединилась с пламенным горением огненного духа, хотя и с тихим светом, из него излучавшимся. Потому он не был потрясен и тем изменением отношения Церкви и государства, которое наступило после революции.

Он оставался внутренне свободным от государства, от которого ни до, ни после революции он ничего не искал, одинаково чуждый всякого раболепства, как перед начальством сверху, так и снизу. Можно сказать, не боясь парадокса, что о. Павел прошел через нашу катастрофическую эпоху<sup>8</sup>, духовно как бы ее не заметив, словно не обратив внимания на внешнюю ее революционность. Это равнодушие выражалось и в его лояльности «повиновения всякой власти», парадоксальном «священнокнутии». Однако при этом нужно знать всю подлинную меру его свободолюбия, которое одинаково умело не только повиноваться, но и не подчиняться, конечно, в том, что являлось для него существенным и главным.

Став священником и возложив на себя во всей полноте ответственность всей канонической и иерархической дисциплины, о. Павел остался свободен и чужд слепому повиновению за страх, а не за совесть, признанию ее infallibilitas<sup>9</sup>. Он оставался свободен и в своем богословствовании, которое, однако, органически в нем было пропитано его церковностью, вдохновлялось у алтаря. Он не дождал до того прямого гонения на софиологию, которое пришло уже позже, но, конечно, готов был принять его со всеми его последствиями.

Когда началось гонение на почитателей Имени Божия («имяславие»), о. Павел отдал свою богословскую силу на поддержку богословски беспомощного, но мистически правого движения имяславцев. Его духовное бесстрашие я мог бы подтвердить также и на основании некоторых биографических данных. К нему вообще можно применить немецкое выражение: nur für schwindelfreie möglich, и он остался schwindelfrei<sup>10</sup> и в своем священстве. Характерно было то, что его можно было встретить не только в келии аввы Исидора, у старцев Зосимовой пустыни, у еп. Антония, жившего на покое в Донском монастыре, но и в разных домах нашей тогдашней Московской «Флоренции», писателей и поэтов, иногда таких, где, казалось, трудно этого было и ожидать, он являлся и желанным гостем и ночным собеседником. При всей своей церковности и литургичности он оставался совершенно свободен и от ханжества и от стильного «поповства», умея интересоваться вещами по существу. Поэтому же он не находил себе настоящего места и в академической среде с особой ее атмосферой.

Оставаясь совершенно далек <от> богословского «модернизма», то есть рационализма, он не был, конечно, ему чужд в лучшем, подлинном смысле, признавая, что каждая эпоха истории имеет не только право на существование, но и закон своей жизни, особые требования творческого ее восприятия, и вследствие чего верность его преданию и не превращается в косное охранительство.

Когда богословские академии оказались закрыты советским правительством, мы вместе с о. Павлом стали деятельно обсуждать проект устройства вольной «религиозно-философской» академии по измененной и расширенной программе и для этого осуществления искали средств и возможностей. Однако жизнь на эти проекты с жестокостью ответила по-своему, для о. Павла заточением, завершившимся исповеднической кончиной, для меня — пожизненным изгнанием на чужбину. Таковы явились пути и веления Промысла Божия. Но и в нашем теперешнем парижском начинании<sup>11</sup>, возникшем в культурных развалинах русской жизни, хочется видеть, конечно, если не полноту, то хотя некоторый слабый отблеск и наших московских замыслов, а в том, что зовется условно «парижским богословием», находить начала, роднящие и с вдохновениями о. Павла, и его духовное с нами как бы соучастие.

Однако полное цветение и плодоношение возможно лишь на родной земле и под ее солнцем, и оторванное от почвы оранжерейное растение, даже если растет, то неизбежно хиреет. Отцу

Павлу было органически свойственно чувство родины. Сам уроженец Кавказа, он нашел для себя обетованную землю у Троицы Сергия, возлюбив в ней каждый уголок и растение, ее лето и зиму, весну и осень. Не умею передать словами то чувство родины, России, великой и могучей в судьбах своих, при всех грехах и падениях, но и в испытаниях своей избранности, как оно жило в о. Павле. И, разумеется, это было не случайно, что он не выехал за границу, где могла, конечно, ожидать его блестящая научная будущность и, вероятно, мировая слава, которая для него и вообще, кажется, не существовала. Конечно, он знал, что может его ожидать, не мог не знать, слишком неумолимо говорили об этом судьбы родины сверху донизу, от зверского убийства царской семьи до бесконечных жертв насилия власти. Можно сказать, что жизнь ему как бы предлагала выбор между Соловками и Парижем, и он избрал... родину, хотя то были и Соловки, он восхотел до конца разделить судьбу со своим народом. О. Павел органически не мог и не хотел стать эмигрантом в смысле вольного или невольного отрыва от родины, и сам он и судьба его есть слава и величие России, хотя вместе с тем и величайшее ее преступление.

Четверть века уже прошло с тех пор, как мы расстались с о. Павлом, выходя из московского храма после последней нашей совместной литургии. И все, что сказано выше о нем, суть впечатления лишь первых десятилетий этого века, уже отдаленного прошлого. Тем не менее я не чувствую себя остающимся в некоем неведении о нем, ибо для меня и минувшие, вместе прожитые годы дали навсегда сохранить в душе этот образ, как бы отлитый из бронзы, подобно памятнику. Но, конечно, превосходит всякие силы поведать о нем, его не видя и не чувствуя непосредственно.

Для того чтобы рассказать о гении, который есть ведь некое *чудо* природы, надо самому быть им или, по крайней мере, иметь способность вообразить его образ силою вчувствования. Будем надеяться, что найдутся те, которые соберут драгоценные крупицы воспоминаний о нем за истекшую четверть века, хотя и все они будут стоять перед одною и тою же неодолимой трудностью: настоящее творчество о. Павла не суть даже книги, им написанные, или его мысли и слова, но он сам, вся его жизнь, которая ушла уже безвозвратно из этого века в будущий. И только те, кто верит и знает, что жизнь творчества продолжается и за гробом, что и там возможно участие в жизни здешней, те имеют христианскую надежду его встретить в родине вечной, в России умопо-



стижимой, в веке грядущем, в котором ничто истинно ценное не пропадает, но умножается, и дела праведника идут за ним...

Преодо мной неотвязно стоит воспоминание, а вместе и предзнаменование грядущих событий и свершений. Это — портрет наш, писанный нашим общим другом М. В. Нестеровым (в этом году также отошедшим из этой жизни) майским вечером 1917 года, в садике при доме о. Павла. Это был, по замыслу художника, не только портрет двух друзей, сделанный третьим другом, но и духовное видение эпохи. Оба лица выражали для художника одно и то же постижение, но по-разному, одно из них как видение ужаса, другое же как мира, радости, победного преодоления. И у самого художника явилось сначала сомнение об уместности *первого* образа, настолько, что он сделал попытку переделать портрет, заменив ужас идиллией, трагедию благодушием. Но тотчас же обнаружилась вся фальшь и невыносимость такой замены, так что художнику пришлось восстановить первоначальное узрение. Зато образ о. Павла оказался им сразу найденным, в нем была художественная и духовная самоочевидность, и его не пришлось изменять. То было художественное ясновидение двух образов русского апокалипсиса, по сю и по ту сторону земного бытия, первый образ в борьбе и смятении (а в душе моей оно относилось именно к судьбе моего друга), другой же к победному свершению, которое ныне созерцаем... Он обрел себе свое место упокоения.

Такова христианская вера и христианское упование.

Но мир как будто бы опустел без него для знавших его и любивших, стал унылым и скучным, и зовет за собой из мира ушедший.

«И взглянул я, — говорит Тайнозритель, — и вот великое множество людей, которого никто не может перечесть... стояло пред престолом и перед Агнцем в белых одеждах и с пальмовыми ветвями в руках своих... Это те, которые пришли от великой скорби... они пребывают перед престолом Бога и служат Ему день и ночь в храме Его... и отрет Бог всякую слезу с очей их...» (Откр. VII, 9—17).

И верим, в их лике зрится иерей Божий Павел, мученик и исповедник Имени Христова.

